

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Имperiокритицизм: память жанра |

ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

Россия, Москва.
Российский институт культурологии.
Старший научный сотрудник. Кандидат культурологии.Russia, Moscow.
Russian Institute for Cultural Research, Senior Researcher.
PhD in Cultural Science.allyus1@gmail.comИМПЕРИОКРИТИЦИЗМ:
ПАМЯТЬ ЖАНРА ★

Исходя из идеи Хардта и Негри, что империя представляет собой не только всеобъемлющий пространственный порядок, направленный к устранению каких-либо границ, но и определенную форму организации времени как остановки истории и фиксации памяти, автор polemизирует с идеей обреченности России на империю. Показано, что империя здесь — исторически предопределенная, но не вечная структура власти. Ведь царские, а затем имперские формы, сыграв свою историческую роль, были не характерны для восточных славян до татаро-монгольского нашествия. Культура жанрового мышления предусматривает игру в той или иной степени «имперских» жанров. На конкретном историческом и литературном материале продемонстрировано, что формула Александра Пушкина «Стамбул раздавят, но не таков Арзрум», не потеряла актуальности для понимания современных событий в исламском мире и в конечном счете представляет собой всеобщую формулу имперской судьбы. Обосновывается изморфизм дисциплинарного и политического империализма.

Ключевые слова: великий нарратив, дисциплинарный империализм, евразийское напряжение, постколониализм, форма социобиовласти, дефицит образов, тотальность, принуждение к постколониализму

Imperiokrititsizm: Memory of the Genre,
or The Goal in the Own Gate

Proceeding from the idea of Hardt and Negri that the empire represents not only the comprehensive spatial order directed at the elimination of any borders, but also a certain form of the organization of time, such as breaks of history and memory fixing, the author disputes the idea of the hopelessness of the Russia in regard to the empire. The article shows that the empire here — historically predetermined, but not eternal structure of the power. After all imperial, and then imperial forms, having played the historical role, weren't so characteristic for east Slavs before the tataro-mongolian invasion. The culture of genre thinking provides game to some extent «imperial» genres. On a concrete historical and literary material it is shown that Alexander Pushkin's formula «Istanbul will crush, but not such is Arzrum», didn't lose an urgency for understanding of modern events in the Islamic world and finally represents a general formula of imperial destiny. The izmorfizm of disciplinary and political imperialism locates. As the situational network empire is presented an European championship configuration on football of 2012 in which there lives memory of the imperial and contractual period of existence of the Polish-Lithuanian Commonwealth (Poland — Ukraine). Whereas the sports and raw imperialism of new Russia is realized in carrying out the World Cup of 2018 autocratically, at the same time having chance for the first time to carry out competitions at once both in Europe, and in Asia that creates concrete internally dialogical Euroasian tension.

Key words: great narrative, disciplinary imperialism, the Euroasian tension, post-colonialism, forms of socio-bio-power, deficiency of images, totality, coercion to post-colonialism

Империя, сказал император,
должна быть одинокой и безграничной,
как одиноко и безгранично небо.

Владислав Отрошенко «Дело об инженерском городе».

После фиксации современной стадии нарративного поворота (чему был посвящен предыдущий номер журнала) обращение к исследовательскому имперскому повороту представляется вполне логичным. Имперские исследования уже

достигают стадии междисциплинарного синтеза. Но ряд российских и зарубежных исследователей подчеркивают, что «несмотря на всплеск интереса к «империи» она остается наименее рационализированной и критически осмысленной категорией современных общественных наук, особенно по сравнению с такими терминами, как государство или нация»¹. При этом

¹ Герасимов И., Глебов С., Кусбер Я., Могильнер М., Семенов А. Новая имперская история и вызовы империи. // Ad Imperio. 2010. № 1. С. 21.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

обращается внимание на «гетерогенность империй, неравноправность отношений между центром и периферией, специфику организации пространства, которое структурировано по модели колеса без обода, когда все периферийные сообщества соединены с центром и слабо, если вообще как-то связаны напрямую между собой»².

«Если ты Византий, то с моей лошади слезантий», — так бы я переиначил кульминационный момент достаточно известной русской сказки-прибаутки, обрисовывая текущий смысл собственно российского имперского поворота³. То есть, я склонен

² Миллер А. История империй и политика памяти. // URL: http://www.globalaffair.ru/namber/n_11151

³ Приводим текст сказки «Рифмы. Шиш по своим делам в город пошел» для теоретически возможных непосвященных:

«Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать.

Он и кричит этому дядьке:

— Здравствуйте, Какой-то-какойтович!

Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отчеству.

Он и кричит Шишу:

— Здравствуйте, молодой человек!

А шиш опять:

— Как супруга ваша поживает, как деточки?

Дядька говорит:

— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.

Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может.

Он только тогда молчит, когда спит.

Он говорит:

— Дяденька, давайте играть в рифмы.

— Это что такое — рифмы?

— А давайте так говорить, чтоб складно было.

— Давай.

— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?

— Моего папашу звали Кузьма.

Шиш говорит:

— Я твоего Кузьму

За бороду возьму!

Дядька говорит:

— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?

Шиш говорит:

— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали.

— Моего дедушку звали Иван.

Шиш говорит:

— Твой дедушка Иван

Посадил кошку в карман.

Кошка плачет и рыдает,

Твое дедушку ругает.

Дядька разгорячился:

— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?

— Это, дяденька, для рифмы.

— Я вот тебе скажу рифму; тебя как зовут?

— Меня зовут. Федя.

Дядька говорит:

— Если ты Федя,

То поймай в лесу медведя.

На медведе поезжай,

А с моей лошади слезай!

— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.

Дядька говорит:

— Если ты Степан,

Садись на ероплан.

На ероплане и летай,

А с моей лошади слезай!

— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а. Силантий.

рассматривать собственно российскую «имперскую» (местами переходящую в «византийскую») проблему *империкритически*, в духе Владимира Соловьева, Василия Розанова или Антонио Негри, а также Хейдена Уайта, чем Константина Леонтьева или Аркадия Миллера.

Царские, а затем имперские формы, сыграв свою историческую роль, были не характерны для восточных славян до татаро-монгольского нашествия. Лишь в XIII в. Русь была настолько втянута в подобие имперских отношений, став улусом Золотой Орды, и творчески освоила их, преобразовав в особые отношения и принципы, которые затем Д. И. Менделеев назвал «русскими началами». Но, как лингвистически моделирует исходный архетип Т. Айзатулин: «за державу обидно» — звучит; «за империю обидно» — не звучит, хотя слово это попадает в литературу гораздо чаще (типичными были поначалу княжеские и великокняжеские формы, тяготевшие к иным формам державности)⁴.

Сейчас империя рассматривается М. Хардтом и А. Негри («Империя») не столько как всеобъемлющий пространственный порядок, направленный в идее к устранению каких-либо границ, но и определенная форма организации времени как останки истории и фиксации памяти. Историческая точка зрения Империи такова, что установленное ею положение вещей изымается из истории, являясь не преходящим моментом, а способом управления вне каких-либо пространственно-временных, социальных и природных рамок, в конечном счете представляя собой совершенную форму социобиологии.

Создатели США как «оплота демократии» были воодушевлены моделью древней Римской империи — с открытыми и расширяющимися границами. Самуэл Морзе сравнивал изобретение телеграфа с древнеримскими водопроводами (первыми же сообщениями по телеграфу стали цитаты из Библии). Т. е. сетевой принцип распределения власти и коммуникации уже тогда выходил на первый план. В сущности, как ситуационная сетевая империя может быть представлена конфигурация чемпионата Европы по футболу 2012 года, в которой живет память об имперско-договорном периоде существования Речи Посполитой (Польша — Украина). Тогда как спортивно-сырьевой империализм новой России реализуется в проведении чемпионата мира 2018 года самодержавно, в то же время имея шанс впервые провести соревнования сразу и в Европе, и в Азии, что создает конкретное внутренне диалогическое евразийское напряжение (не знаю, как организаторы распорядятся его энергетикой). Впрочем, прототипом Европейского Союза как объединения равноправных, суверенных и самоуправляющихся субъектов яв-

Дядька говорит:

— Если ты Силантий,

То с моей лошади слезантий!

— Что ты, дяденька, такого и слова нет — слезантий.

— Хотя и нет, все равно слезай!

Шишу и пришлось слезть с телеги.

Так ему и надо».

Если тебя добрый человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.

⁴ Айзатулин Т. Теория России. Геоподоснова и моделирование. М., 1999. // URL: <http://aizatulin.chat.ru/aizatul1.html>



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

ляется отнюдь не централизованная Римская империя или империя Карла Великого, тем более не Византия, а скорее Ганза и другие средневековые городские союзы, которые существовали и на севере России.

«В строгом смысле русская литература была имперской всегда, — утверждает В. Пучков, рассматривая творчество современного писателя З. Прилепина. — Все перечисленные особенности (за исключением, пожалуй, простоты образов и сюжета: здесь заметно явное влияние массовой культуры, или явного автобиографизма) так или иначе остаются характерными для любого классического произведения, начиная с пушкинского творчества («Пиковая дама», «Борис Годунов») и заканчивая, скажем, «Домом на набережной» Юрия Трифонова»⁵.

В то же время, исследуя несоразмерность пространственной и временной, политической и культурной «имперскости» России, Д. Н. Замятин утверждает, что речь здесь может идти скорее об умирании географических образов имперской мощи, слишком слабо проявлявшихся в символической оболочке российской цивилизации XIX — начала XX века. «О подспудном нарастании дефицита образов, которые бы адекватно описывали и «оконтуривали» вновь присоединяемые или вновь осваиваемые территории империи. Характерно, что геократической энергетике, присущей российской цивилизации в XVIII веке, хватило только на осмысление России как в основном европейской страны; самым последним был риторически и символически захвачен, хотя и не до конца, Урал. Сибирь, Казахстан, Средняя Азия и Дальний Восток, войдя в состав Российской империи, так и не были осмыслены образно — для этого способы и методы европейской символизации новых пространств позднего Нового времени, по ходу развития империализма и колониализма, для России уже не годились, а свои собственные пространственно-символические дискурсы российская цивилизация разрабатывала слишком медленно, все более и более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации — в свою очередь, также со временем «зависавших» без соответствующей образной социокультурной «подпитки». Иначе говоря, Россия конца XIX — начала XX века, глядясь в «цивилизационное зеркало», никак не могла увидеть себя «полностью», во всей образно-символической «красе»; зеркало как бы затуманено, и видны только фрагменты какого-то возможного сейчас цивилизационного целого, но само зеркало старое, архаичное, созданное по дискурсивным «лекалам» Века Просвещения»⁶.

По мнению Д. Н. Замятина, имперско-европейская геометрия и симметрия петербургской планировки и архитектуры, неприспособленность «маленького человека» к открытым, нечеловечески огромным и насквозь продуваемым промозглым петербургским пространствам, бесчеловечная чиновничья фальшь и суэта северной столицы стали фирменными чертами самого семантически насыщенного петербургского мифа. В то же время становление локальных текстов русской культуры, концептуализация которых происходит в ходе текущей текстур-

альной революция в России под перманентным воздействием концепции Петербургского текста В. Н. Топорова, происходит по схеме глобального «имперского» вызова и локального ответа. На вызов мифа Тавриды, создатель которого стал, по словам А. Герцена, ответом на брошенный Петром I-м вызов, ответом стал волошинский миф Киммерии. На поверхностно-идеологизирующее рассмотрение Сибири другими русскими классиками ответом стало литературное и общественное движение «областничества». Таким стал российский текстологический ответ на постулируемую Ю. Кристевой смену линейной истории историей текстуальных блоков, образованных знаковыми практиками⁷.

Ощущение жанра с его актуальной или находящейся в состоянии анабиоза памятью — существенный компонент культуры. Эрик Ауэрбах утверждал, что трагедия — единственный жанр, способный по праву претендовать на реализм в западной литературе, и, пожалуй, комментируют эту мысль Хардт и Негри, это справедливо именно потому, что трагедия западной современности была распространена ею на весь мир. Концентрационные лагеря, ядерное оружие, геноцид, рабство, апартеид: несложно перечислить различные стороны трагедии. Тем не менее, настаивая на трагическом характере современности, мы вовсе не намерены следовать «трагическим» философам Европы от Шопенгауэра до Хайдеггера, которые превратили эти реальные беды в метафизические повествования о негативном характере бытия, так, как если бы эти настоящие трагедии были всего лишь иллюзией или даже нашей неотвратимой судьбой. Впрочем, трагедия вполне может обернуться мыльной оперой, если вспомнить судьбу «остаточной» Бразильской империи, исследованную М. В. Кирчановым, на фоне востребованности «бразильских» телесериалов в СССР на стадии превращения в РФ⁸.

При отсутствии великого нарратива, способного определить место и придать значение историческим частностям, историческая необразованность становится чем-то вроде нормальной человеческой позиции, утверждает А. Мегилл, добавляя в примечании: «Безусловно, великий нарратив, если он полностью подчиняет исторические особенности развивающейся истории или истории спасения, которую он сообщает, может заслонять собой историю и историческое размышление. Это то, почему марксизм так легко перепрыгнул от истории к несанкционированной науке или теории истории, и почему христианская история спасения должна была подвергнуться секуляризации прежде, чем она смогла предложить в конце XVIII — начале XIX в. основание для появления исторической дисциплины»⁹.

«Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра, утверждал М. Бахтин. — Понять определенные стороны действительности можно только в связи с определенными способами ее выражения»¹⁰.

⁷ Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М., 2004. С. 13.

⁸ Кирчанов М. В. Империя и нация: проблемы интеллектуальной истории Бразильской Империи. Воронеж, 2013.

⁹ Мегилл А. История и память: за и против // Философия и общество. 2005, № 2. С. 156.

¹⁰ Медведев П. Н. [Бахтин М. М.]. Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928. С. 182.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

Великий нарратив может дать оправдание знанию прошлого, позволяя историческим частностям, найти их место в более широком поле истории, и это может также служить поддержкой господствующим нарративов, свойственных отдельным этническим, национальным, религиозным и другим группам. Обратная сторона великих нарративов — «открытый» Р. Коллинзом «дисциплинарный империализм». А. М. Либман конкретизирует это явление, рассматривая функционирование термина «экономический империализм»: «С одной стороны, традиционно “экономическими империалистами” считают экономистов, пытающихся применить свой стандартный инструментарий к областям исследования других социальных наук. Тем не менее, хотя “экономические империалисты” этой группы и пересекают “предметные” границы своей дисциплины, они остаются частью своего “незримого колледжа” — общества экономистов-исследователей... Порой подобные исследования ведут к возникновению собственной “провинции” в “республике писем” экономистов (как это стало с политической экономией и теорией общественного выбора), но, в любом случае, они остаются частью экономики.

Совершенно другая ситуация возникает, когда методы экономического анализа пересекают не только тематические, но и институциональные границы дисциплин. Она тоже не редкость: сегодня на североамериканском континенте значительное число представителей школ и факультетов политологии так или иначе придерживаются разных модификаций теории рационального выбора, “экономики и права”, а в исследованиях международных отношений огромную роль сыграли теория игр и неинституциональная школа. “Нарушения границ” могут быть вызваны различными обстоятельствами: наймом выпускников экономических программ в качестве преподавателей неэкономических факультетов (как это нередко происходит с политологами в США) или же непосредственной “миграцией идей”. В дальнейшем я буду говорить о “внешнем” империализме, в отличие от “внутреннего”, то есть связанного с расширением границ своих исследований представителями экономического сообщества.

С содержательной точки зрения “экономические империалисты” на факультетах экономики и факультетах общественных наук (за определенными оговорками, о которых речь пойдет далее) вполне могут производить практически идентичный “научный продукт”. Поэтому “распознать” экономистов и неэкономистов при чтении публикуемых ими работ непросто: эффекты “внутреннего” и “внешнего” экономического империализма сильно дифференцируются, если обратиться к точке зрения “экономики экономики”¹¹. Вспоминается преимущественно внутренняя «империалистичность» советской экономики, которая «должна быть экономной».

Аналогичная ситуация — с «филологическим империализмом», и здесь геополитические метафоры, по мнению Н. С. Розова, не случайны, поскольку в социальной организации науки есть своя преимущественно «имперская» «геополитика», а структуры конфликтных взаимодействий в разных сферах и на разных уровнях могут иметь сходные структурные черты, не-

кий изоморфизм. В качестве «территорий» выступают предметные области, в которых есть свои «хартленды» — почти недоступные для других дисциплин области (например, состояния сознания и переживания для психологии, соотношение спроса, предложения и цен для экономики, разнообразие обрядовых практик для этнографии и т. д.), окраины и пограничные, ничейные зоны («дисциплинарные лимитрофы»).

Прямым аналогом военно-политического контроля над территориями выступает в науке управление основными дисциплинарными институтами: профильными исследовательскими центрами и учебными заведениями, соответствующими университетскими факультетами и кафедрами, профессиональными журналами, ассоциациями, организацией конгрессов, распределением грантов и проч.

Установив изоморфизм основных элементов, можно продвинуться глубже, например, задаться вопросом, какие фундаментальные факторы способствуют успешному территориальному расширению одной державы за счет соседних держав. Согласно классическим концепциям, завоеванию способствуют геополитические ресурсы: население и его богатство (среднедушевой доход), приемлемый (не истощающий) уровень конвертации этих ресурсов в военную силу. Напротив, удаленность захватываемых территорий повышает издержки и подрывает успех, сверхрасширение ведет к распаду империй.

«Во-первых, отметим наличие *паттерна сверхрасширения*, дискредитации и распада (как минимум, сжатия) некоторых, в свое время излишне раздувших свои претензии и амбиции подходов. В этот ряд попадают гегелевская диалектика, психоанализ, структурализм, логицизм, кибернетика, общая теория систем, парсоновская система социологии, постмодернизм.

Во-вторых, сопоставив население территории числу активных исследователей в дисциплине, а богатство (среднедушевой доход) — фондам и субсидиям, предназначенным для проведения исследований, можно делать уверенные предсказания. Та дисциплина, в которой *больше число активных исследователей, больше финансовых возможностей для исследований, рано или поздно полностью освоит свой «хартленд», свои окраины и непременно начнет экспансию вовне, в соседние области*. Если же в этих соседних областях активных исследователей меньше, финансирование скуднее и интеллектуальное оснащение более отсталое, то расширяющаяся дисциплина будет посягать и на соседние «хартленды». Это и есть тот момент, когда жертвы экспансии начинают стенать об опасном империализме чужаков»¹².

Никто не говорит об империализме и экспансии, когда ведется разработка пограничных зон и даже окраин предметных областей (здесь поются оды меж- и мультидисциплинарности, хотя реальная кооперация — нечастое явление). Раздражение вторжением чужаков вплоть до негодования и прямой силовой борьбы вызывает наступление представителей другой дисциплины на свой «хартленд». Откуда же столько негативных страстей, когда одни ученые вдруг начинают заниматься областями, «принадлежащими» другим ученым? Дисциплинарная экспансия (и империализм как многосторонняя массивирован-

¹¹ Либман А. М. Границы дисциплин и границы сообществ (Два аспекта “экономического империализма”) // Общественные науки и современность. 2010. № 1. С. 134–135.

¹² Розов Н. С. От дисциплинарного империализма — к Общественно-научному Без Границ! // Общественные науки и современность. 2009. № 3. С. 135.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Имperiокритицизм: память жанра |

ная экспансия) только в смысловом, содержательном плане является конфликтом идей. В интеллектуальной истории яркий случай прямой организационной борьбы описан Р. Коллинзом как «университетская революция», когда в Пруссии начала XIX в. философы, вооружившись немецким идеализмом Канта, Фихте и Гегеля, используя интерес государства с расширенной подготовке инженеров, чиновников, преподавателей и ученых, свергли с руководящих позиций теологов, создали и возглавили университеты новой исследовательской модели, которая стала образцом для реформирования университетов в Европе и дальнейшего создания новых университетов во всех других странах и частях света. В отношении всей сферы общественности такая геополитическая модель позволяет предсказать неуклонное повышение междисциплинарных напряжений и конфликтности.

- Что же теперь — наращивать административные мускулы, чтобы отбиваться от чужаков и самим захватывать чужие предметные поля? Есть ли более цивилизованная стратегия? Экономический империализм на нынешней стадии — это даже еще не колониализм, а нечто вроде Королевского географического общества, где джентльмены-путешественники хвастают друг перед другом теми редкостями, которые они сумели добыть в далеких враждебных странах, населенных невежественными дикарями.

Если где-то этот начальный этап демонстративного презрения к доморощенным «достижениям» туземцев преодолевается, начинается стадия «колониальная». Тогда с «туземцами» — представителями захватываемых дисциплин — приходится уже общаться на постоянной основе, как-то находить общий язык. Постколониальный критик, подчеркивает И. Бобков, стремится стать медиатором между колонизатором и колониальным, создать «неподеленный» язык, при помощи которого можно было бы вести диалог между ними. Однако при этом в постколониальном дискурсе сохраняются элементы, связывающие его с антиколониальным: это «1) проект деконструкции Запада как субъекта имперского дискурса... Запад рассматривается при этом как Великий Колонизатор» и «2) проект легитимации противодискурсов, программа выработки и рефлексии различных антиколониальных стратегий»¹³. Ориентализм сменился посколониализмом, в сущности, той же самой формой методологического колониализма, сопровождающегося принуждением к постколониализму.

Разбирая роль европейской беллетристики XVIII-XX вв. в распространении ориенталистских стереотипов, один из знаковых интеллектуалов современности Эдвард Саид (1935–2003) из русских классиков вскользь упомянул лишь Льва Толстого, вообще не коснувшись ни Пушкина, ни Лермонтова, при всем значении для их творчества восточной экзотики. Э. Саид предупреждал, что русский ориентализм требует дальнейшего изучения, оговаривая его отличие от «классических» европейских образцов.

Культура жанрового мышления предусматривает игру в той или иной степени «имперских» жанров. Пушкин, по известному определению Г. Федотова, был «певцом империи и свободы». Аналогичным образом его предшественник Н. Карамзин

сначала написал (с точки зрения «свободы») статью «О случаях и характерах, в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802), среди главных героев которой князь-рыцарь Святослав, а затем «самодержавно-имперскую» «Историю государства Российского» (1816–1829).

Э. Саид в «Ориентализме» отмечал, с одной стороны, усиленное финансовое стимулирование ориенталистских исследований, с другой — отсутствие у последних самокритики¹⁴. То же самое теперь порой наблюдается у нынешнего *посториентализма*. Саида попробовала «пересаидить» Эва Томпсон в книге «Трубадуры империи: Российская литература и колониализм» (Киев, 2006). Саидизм от Томпсон — пример редукционистской методологической агрессии против самой ядерной жанровой структуры с ярко выраженным «саидизмом» по отношению к фактам, что обесценивает ряд верных замечаний. Так, откровенно «колониальному» Пушкину, следовавшему байроновской модели описания «экзотических» народов, противопоставляются не современные ему европейские авторы, а прежде всего более ироничный, но при этом куда более позднейший литературный «колонизатор» Джозеф Конрад (1857–1924). Конрад, конечно, писатель интересный, но для литературной самокритики здесь более важен все же Велимир Хлебников, писавший об историческом долге русской литературы перед многими народами, который, по мере сил, отдается современными писателями (Алексеем Ивановым, Вадимом Штепой и другими).

«Пушкин цитирует турецкую поэму, которая сравнивает набожный (и поэтому, вероятно, непобедимый) Арзрум со Стамбулом, который обречен на падение потому, что не придерживается предостережений Корана. Автор этой поэмы, оказывается, ошибся: Арзрум пал перед россиянами»¹⁵. Получается, Томпсон попадает в расставленные Пушкиным «колониальные» сети литературной мистификации. Давно установлено, что янычар Амин-Оглу, сатирическую поэму которого якобы цитирует Пушкин в «Путешествии в Арзрум в 1829 году» — лицо вымышленное, элемент литературной игры (это не перевод, а оригинальные стихи).

Однако даже если принять всерьез посыл «перевода», вряд ли стоит этот опыт проникновения вглубь «восточного» мышления трактовать как примитивное торжество победителя. У Пушкина во включенном в «Путешествии в Арзрум» отрывке «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830) содержится не столько усмотренное Томпсон мелковатое уличение своего персонажа в ошибочности, сколько поэтическая солидарность с ним, поверх сиюминутных событий. Описание Стамбула во многом напоминает описание Петербурга из «Евгения Онегина», живущего по образцу Парижа. «Арзрум, не спящий в «роскоши позорной» и не черпающий «чашей непокорной в вине разврат, огонь и шум», вполне сопоставимы с матушкой-Москвой, которая встречает путешественников своими белокаменными храмами и колокольнями: «Но вот уж близко. Перед ними Уж белокаменной Москвы, как жар, крестами золотыми Горят старинные главы...». Если в Арзруме до сих пор «строги законы»,

¹³ Цит. по: Ионов И. Н. Новая глобальная история и постколониальный дискурс // История и современность. 2009. Вып. 2 (10). С. 34.

¹⁴ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 150.

¹⁵ Томпсон Э. Трубадуры империи. Российская литература и колониализм. Киев, 2006. С. 111.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

то лейтмотивом в изображении Москвы становится традиционность и семейственность»¹⁶.

При этом Пушкин интуитивно постиг глубинные процессы, назревавшие в обеих империях — и Российской, и Османской, развернувшиеся в следующем веке именно в отмеченных им формах (Стамбул — «раздавят», но «не таков Арзрум»), т. е. падение Османской империи исторически неизбежно, как и исходящее из глубины страны возрождение новой Турции (неважно, что ее столицей стал не Эрзурум, в современном написании, а Анкара)¹⁷. Эта формула не потеряла актуальности для понимания современных событий в исламском мире. В конечном счете, это всеобщая формула имперской судьбы. В том числе, и судьбы Византии, у которой не нашлось своего запасного «Арзрума», так как, строго говоря, Византия сыграла свою роль «Арзрума» для Римской империи, выработала ее до конца и уступила Османской империи, именно с распадом которой распад СССР соотносим в большей мере, чем с летальным исходом Византии. Однако в общеимперской сравнительной ретроспективе Томпсон хватается духа «добежать» только до канадской границы, как героям рассказа О'Генри «Вождь краснокожих» (но с канадской же стороны).

По мнению Х. Бхабха, должна существовать прослойка интерпретаторов таких метафор, способствующих распространению текстов и дискурсов между культурами и готовых осуществлять то, что Саид называет актом секулярной интерпретации. «Проблемные поля современности определены амбивалентными темпоральными пространствами нации. Язык культуры и сообщества отражает разрывы настоящего, становясь риторическими фигурами национального прошлого. Историки, внимание которых приковано к истокам и настоящему нации, равно как и политические теоретики (помешанные на «модерновых» тотальностях нации, среди которых «ключевыми являются гомогенность, грамотность и анонимность»), никогда не ставят фундаментального вопроса о представлении нации в качестве темпорального процесса. Только когда современность нации становится перед альтернативой выбора, когда знание зажатое между политической рациональностью и иррационализмом политики, между фрагментами (обрывками культурной сигнификации) и устремлениями националистической педагогики, — только тогда поднимается вопрос о нации как нарративе. Каким же образом можно представить нарратив нации — который при этом еще должен служить связующим звеном телеологии прогресса, — склонной к «вневременному» дискурсу иррациональности? Как нам следует понимать эту «гомогенность» модерности — общество, которое, будучи спровоцированным, способно превратиться в нечто подобное архаическому телу деспотической или тоталитарной массы? В средоточии прогресса и модерности язык амбивалентности обнаруживает политику «без длительности», если вспомнить давешнее провокативное высказывание Альтюссера: «Пространство без места, время без длительности»¹⁸.

¹⁶ Каптушева Л. М. Интертекст «путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина // Филология, журналистика и культурология в парадигме социогуманитарного знания. Материалы 55-й научно-методической конференции «Университетская наука — региону». Ставрополь, 2010. С. 81.

¹⁷ Люсий А. П. Наследие Крыма. С. 159–160.

¹⁸ Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2005. № 3–4. С. 180.

«Толстой придал мифологическое измерение российской истории XIX столетия, подобно тому, как Редьярд Киплинг придал мифологию «доброе» колониализма британским деяниям в Индии», — полагает Э. Томпсон¹⁹. Т. е., никакой «Хаджи-Мурат» (а до этого «Рубка леса») не может послужить «прощением» Льву Толстому за текстуально-имперский «грех» романа «Война и мир»! Кавказский текст Пушкина европоцентричен. Толстой же в «Хаджи-Мурате» (как и в «Казаках») переводит противопоставление «цивилизация — дикость» в противопоставление «естественное — искусственное». Весьма актуальное у Пушкина противопоставление Запада и Востока у него снимается вообще. Оба они при этом, по замечанию Б. А. Успенского, черпают из одного источника — идей Просвещения, но извлекают разную «пищу». Позиция Толстого восходит к идеям Руссо, а не Вольтера, как у Пушкина. В этом контексте цивилизация может переосмысливаться уже как отрицательное явление, противоположность «естественности», а не «дикости». Но противопоставление «естественное — искусственное» затрагивает, прежде всего, человеческую личность, а не отдельные социальные институты. «В сущности, «Хаджи Мурат» и «Путешествие в Арзрум» противопоставлены между собой так же, как противопоставлены «Кавказский пленник» Толстого и «Кавказский пленник» Пушкина: это противопоставление внешней и внутренней перспективы. В одном случае (у Пушкина) Кавказ показан глазами постороннего наблюдателя, посетившего эту страну, — как обобщенная картина, в другом случае (у Толстого) он показан изнутри; в одном случае это предмет оценки (эстетической или идеологической), в другом — проникновение во внутренний мир героя. Это противопоставление аналогично противопоставлению прямой и обратной перспективы: пользуясь этой метафорой, можно было бы сказать, что Пушкин ведет повествование в прямой перспективе, а Толстой — в обратной»²⁰. Толстой освобождает своего Кавказского пленника от цивилизаторской миссии.

Э. Томпсон становится в позу разрезающего ясный женский глаз героя фильма Бунюэля «Андалузский пес», с тем, чтобы заменить его фрагментарным посткоммунальным зрением от Людмилы Петрушевской, противопоставленный Толстому. Конечно, Петрушевская интересный писатель, но такая операция, напоминающая также операцию по изменению пола, вряд ли подойдет как империалистам, так и антиимпериалистам. Приведу в пример литературные вкусы генерала Джохара Дудаева, задумавшегося в 1993 году о новом названии Чечни. Чечня — это русское название, от небольшого, рядового населенного пункта Чечен-аул, поэтому оно не подходило амбициозным чеченским лидерам. Самоназвание чеченцев «нохчи», и съезд ОКЧН (Общенациональный конгресс чеченского народа) назвал Чечню Нохчичью. Тем не менее, это также не пришлось по вкусу лидерам мятежной республики. Откуда появилось название Ичкерия? Дело в том, что любимым поэтом генерала был Лермонтов, Дудаев многие стихи его знал наизусть, и осенью 1993 года он перечитал поэму «Валерик». «Нам был обещан бой жестокий. // Из гор Ичкерии далекой // Уже в Чечню на братний зов // Толпы стекались удалцов». Ичкерия — кумыкское

¹⁹ Томпсон Э. Трубадуры империи. С. 162.

²⁰ Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 28.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

слово, которое буквально переводится как «это место». Кумыки, а вслед за ними русские военные времен Кавказской войны называли так в своих сводках высокогорные земли. Именно в этом значении употребляет слово поручик Лермонтов. Чеченцами же название Ичкерия никогда не употреблялось, а в современной Чечне было и вовсе было неизвестно до Дудаева, читателя Лермонтова²¹.

Наш доморощенный ориентализм — текущий византизм. Не могу претендовать на оригинальность общих впечатлений от храма Софии в нынешнем Стамбуле. На ее месте, как нередко бывает с христианскими святынями, в языческие времена тоже было капище — по всей вероятности, храм Артемиды. Что же касается Софии, то сохранившаяся до наших дней Церковь Божественной Мудрости — третья по счету. Первую заложил около 330 года сам основатель новой столицы Константин Великий (от нее не осталось ни одного бесспорного фрагмента). Она была освящена в 360 году, но через 44 года сгорела. В 415 году Феодосий II построил на этом же месте новый храм. Но и тот был разрушен в 532 году во время восстания «Ника». Жестоко подавив это восстание, за дело взялся тот, при котором Византия находилась на пике своего могущества — Юстиниан, не жалевший никаких средств на постройку. София стала в разных смыслах храмом-собранием. Для строительства были привезены остатки многих монументальных сооружений древности Греции и Рима. Из храма Артемиды в Эфесе (того, что некогда был подожежен Геростратом) привезли колонны. Мраморные плиты доставили из древних каменоломен Фессалии, Лаконии, Карики, Нумидии и со знаменитой горы Пентеликон близ Афин, из мрамора которой за десять веков до Аия-Софии был построен на Акрополе Парфенон — Храм Девы-Афины. Центральные — Императорские — двери, по преданию, сделаны из остатков Ноева ковчега. Юстиниан в тщеславном порыве решил было вымостить пол плитами ковчегого золота; и даже все стены внутри храма намеревался покрыть золотом же, но его все же отговорили от этого. Известь для храма разводили на ячменной воде, в цемент добавляли масло, а для верхней доски патриаршего престола был создан материал, которого до того не существовало: в расплавленное золото бросали драгоценные камни — рубины, сапфиры, аметисты, жемчуга, топазы, ониксы. Полностью секреты строительного раствора разгадать не удалось, но налицо вещественное выражение исторического ритма — сначала византийская плоть впитывает золото и драгоценности, потом их оттуда варварски выковыривают завоеватели.

Работа, начатая 23 февраля 532 года, продолжалась 5 лет и 10 месяцев. «Я превзошел тебя, Соломон!» — воскликнул Юстиниан по окончании работ (называвший, кстати сказать, свою столицу Новым Иерусалимом, а не Римом). 916 лет София была главной церковью православного мира. В 1453 году взявший Константинополь султан Мехмед II Завоеватель повелел превратить собор в мечеть, каковой Аия-София была 481 год. В 1934 году по указу вождя новой, светской Турции Кемаля Ататюрка Аия-София была секуляризована и превращена в музей. Началась не лишенная идеологических

коллизий реставрация. Для того, чтобы обнаружить и восстановить испорченную или закрашенную христианскую мозаику и иконы, реставраторы шли и на разрушение некоторых исторически важных элементов исламского искусства, в целом пытаясь сохранить баланс между обеими мировыми культурами.

Несколько приземленная покладистость храма снаружи, вполне органично впитавшая в свой облик и позже пристроенные четыре минарета, резко контрастирует с ощущением нигде не виданного простора внутри храма. Этот простор поглощает даже куда менее органичные, чем минареты, висащие на углах чуть ниже купола восемь щитов из ослиной кожи с изречениями из Корана и именами первых халифов. Ататюрк приказал убрать отсюда эти щиты, но сразу после его смерти в 1938 году они были возвращены на место. В 2006 году в храме было возобновлено и проведение мусульманских религиозных обрядов. Но храм остается прежде всего музеем.

Аналогичный упрек, насчет искажения исконного вида, можно сделать и по поводу упирающихся в купол реставрационных лесов (которые сами по себе представляют современное инженерное чудо). Невольно возникает обратное сравнение — не стали ли минареты своеобразными лесами-подпорками веры (чтоб и христианство фаллически-реанимационно взбодрить)²²? В целом же именно константинопольская София, при всех ее «переделках», сформировала облик Стамбула. Между прочим, это тоже вполне греческое название, только с турецким акцентом. Топоним Стамбул (Istanbul) произошел от искаженного греческого выражения *eis ten polin* — «в город». Я пользуюсь учебником Ю. С. Маслова «Введение в языкознание»²³ а не несколько КВН-новскими шутками «Путешествия в Стамбул» Иосифа Бродского, который приводит версию каких-то путеводителей (в случае со Стамбулом, как я убедился, весьма недостоверных)²⁴.

Застраивая город мечетями, турки учились архитектуре у прежних хозяев города — византийцев. У множества совершенно византийских на вид храмов XVI, XVII и даже XVIII веков, «украшенных» минаретами, прототип один и тот же, *софиеобразный*. Прав, пожалуй, политолог Сергей Черняховский: «Мусульманский Стамбул в каком-то смысле куда больше можно считать продолжателем Византии, чем Москву, ставшую центром

²² Без сомнения, ислам во многих отношениях был подлинной провокацией. Он был слишком близок к христианству географически и культурно. Он был близок к иудео-эллинистической традиции, он многое творчески заимствовал из христианства, он смог гордиться своими беспрецедентными военными и политическими успехами. Но и это еще не все. Исламские земли находятся совсем рядом и перекрываются библейскими землями. Более того, сердцевина исламской сферы всегда была наиболее близкой к Европе регионом — тем, что называют Ближним Востоком. См.: Саид Э. Ориентализм. СПб., 2006. С. 116.

²³ Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Учебник для филологических специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1987.

²⁴ «На самом деле Стамбул -- название греческое, происходит, как будет сказано в любом путеводителе, от греческого «стан полин» -- что означает (ло) просто «город». «Стан»? «Полин»? Русское ухо? Кто здесь кого слышит? Здесь, где «бардак» значит «стакан». Где «дурак» значит «остановка». «Бир бардак чай» — один стакан чаю. «Дурак автобуса» -- остановка автобуса. Ладно хоть, что автобус только наполовину греческий... И христианство, и бардак с дураком пришли к нам именно из этого места». Бродский И. Путешествие в Стамбул.

²¹ Шутова Т. А. Русские писатели в современной мифологии Кавказа // Кавказские научные записки. 2010. № 3(4). С. 75–76.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

и основой совершенно иного мира»²⁵. Фактическое падение Византийской империи произошло еще в 1204 году, когда Константинополь с подачи Венеции был взят крестоносцами, почти шестьдесят лет (а не несколько дней, как турки) непрерывно грабивших город в рамках т. н. Латинской империи (Romania). Восстановленная же в 1261 году Византия Палеологов была уже явной пародией. Турки оказались в роли санитаров исторического биоценоза, в котором лес категорий пророс лесом мечетей. Неожиданный смысл приобретает неоднократно отмеченное позднейшее внешнее сходство Агатурка с волком (но не лесным, а степным). О био-исторической органичности перетекания Византийской империи в Османскую свидетельствует не только архитектура, но характер имперского устройства, жестокие нравы монаршествовавших в обеих империях династий, *вплоть*, так сказать, до института евнухов, какие бы современные византийско-российские метафоры ни проповедовал в своем *поп-кино* — нашумевшем телефильме «Гибель империи. Византийский урок» — архимандрит Тихон (Шевкунов). При этом турки, конечно, значительно упростили ижевную множество внутренних перегородок структуру общества²⁶.

Что первым делом сделал Мехмед II, когда в 1453 году утихла страсти штурма? Приказал выбросить отсюда из могилы на съедение собакам прах 96-летнего венецианского дожа Энрико Дондоло, стараниями которого собравшиеся было опять освободить Святую землю от неверных в рамках Четвертого Крестового похода крестоносцы и оказались у стен Константинополя. А потом, когда с пола была смыта кровь попытавшихся спастись здесь осажденных, внести в храм дерева в кадках и развесить по вервям золотые клеточки с птицами, дабы производимое и на завоевателей здесь впечатление рая стало абсолютным. И неправда, что его конь поскользнулся на еще залитом кровью полу, и всаднику, чтобы не упасть, пришлось опереться о стену у алтаря ладонью, отпечаток которой и сейчас показывают докучливые гиды. На самом деле Мехмед вошел в Софию спешившись и даже посыпав свою тюрбан пылью в знак смирения и примирения — даже не дождавшись, когда с пола будет смыта кровь. Акт о взятии города Мехмед приказал составить по-гречески, на ионийском диалекте — языке Фукидида.

Однако вернемся к не столь назидательным истокам русского «Текста Софии» (или, может быть, текста невозможности *такого* текста) — там же, где и истоки русского текста как такового, в «Повести временных лет»: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба там лучше, чем в других странах». Лучше не скажешь и сейчас о силе эстетического воздействия внутреннего пространства Софии. Именно здесь случился с нами первый эстетический укус в орган веры. Вероятно, стоит под этим углом перечитать и пуш-

кинскую «Песню о вещем Олеге». А вот древние жители Крита, говорят, были устроены так, что когда их кусала змея, то она же и умирала...

Диагноз нашему вкусу поставил Василий Розанов. «Разлагаясь, умирая, Византия нашептала России все свои предсмертные ярости и стоны и завещала крепко их хранить России. Россия, у постели умирающего, очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому своему сердцу и дала клятвы умирающему...»²⁷. А суть этой клятвы заключалась прежде всего в том, чтобы хранить в сердце чувство смертельной ненависти к западным племенам, более счастливым по своей исторической судьбе. Так Второй и Третий Римы стали степенями отрицания первого, заемное неприятие... И воспринятый при этом христианский дух оказался опосредованным, утяжеленным множеством обременений, которыми византийское православие за несколько столетий успело уснастить христианскую веру, которые стали не приближать человека к Христу, а напротив, удерживать в некоторой дистанции. Место же укуса Византией Османской империи было опознано выше.

Для Владимира Соловьева («Византизм и Россия») византизм стал синонимом неспособности и нежелания выполнять главные жизненные требования христианской веры. Христианская идея оказалась для византийцев не движущим началом жизни, а лишь предметом умственного признания и обрядового почитания. Среди «общественных грехов» византизма — равнодушие государства к неформальной религиозно-гражданской, религиозно-нравственной жизни людей и к задачам ее развития²⁸.

В деле государственного и религиозного строительства, по Соловьеву, России у Византии, в сущности, учиться нечему. «Россия с самого начала своей исторической жизни обнаружила преимущества своего религиозно-политического сознания перед византийским. Первый христианский князь киевский, который, бывши язычником, неограниченно отдавался своим естественным склонностям, — крестившись, сразу понял ту простую истину, которой никогда не понимали ни византийские императоры, начиная с Константина Великого, ни епископы греческие, между прочим и те, что были присланы в Киев для наставления новых христиан, — он понял, что *истинная вера обязывает*, именно обязывает переменить правила жизни, своей и общей, согласно с духом новой веры. Он понял это и в применении к такому случаю, который был неясен не для одних византийцев; он нашел несогласным с духом Христовым казнить смертью даже явных разбойников. Новокрещенный Владимир понял, что отнимать жизнь у людей обезоруженных и, следовательно, безвредных — в отмщение за их прежние злодеяния, противно христианской справедливости. Замечательно, что в таком отношении к этому вопросу он руководился не одним только естественным чувством жалости, а прямо своим сознанием истинных христианских требований».

Худший пример византиста — патриарх Никон (кумир патриарха Кирилла). А вот как расценивает В. Соловьев скорее антивизантийскую направленность противоречивых, конечно,

²⁵ Черняховский С. Византизм как агония // <http://www.apn.ru/publications/article19489.htm>

²⁶ «Согласно закону Юстиниана, адресованному префекту претория Демосфену (531 г.), раб-ремесленник стоил 30 номисм, в то время как необученный раб — 20 номисм. Раб-евнух, владеющий каким-либо ремеслом, ценился в 70 номисм». Чекалова А. А. . Константинополь в VI веке. Восстание Ника. 1997.

²⁷ Розанов В. В. Религия и культура. Т. 1. М., 1990. С. 330.

²⁸ Соловьев В. С. Византизм и Россия // Византизм и славянство. Великий спор. М., 2001. С. 160.



ЛЮСЬИЙ Александр Павлович / Alexander LYUSY

| Империкритицизм: память жанра |

реформ Петра I: «Россия в XVII веке избежала участи Византии: она сознала свою несостоятельность и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого решения воплотился в лице Петра Великого. Если Бог хотел спасти Россию и мог это сделать только чрез свободную деятельность человека, то Петр Великий был несомненно таким человеком. При всех своих частных пороках и дикостях, он был историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциальным, или теократическим. Истинное значение человека определяется не его отдельными качествами и поступками, а преобладающим интересом его жизни. И едва ли во всемирной истории есть другой пример такого, как у Петра Великого, всецелого, решительного и неуклонного преобладания одного нравственного интереса общего блага. От ранних лет понявши, чего недостает России, чтобы стать на путь действительного совершенствования, он до последнего дня жизни заботился только о том, чтобы создать для нас эти необходимые условия. В лице Петра Вели-

кого Россия решительно обличила и отвергла византийское искажение христианской идеи — самодовольный квиетизм. Вместе с тем, Петр Великий был совершенно чужд навуходоносоровского идеала власти для власти. Его власть была для него обязанностью непрерывного труда на пользу общую, а для России — необходимым условием ее поворота на путь истинного прогресса. Без неограниченной власти Петра Великого преобразование нашего отечества и его приобщение к европейской культуре не могло бы совершиться, и он сам смотрел на свое самодержавие как на орудие этого провиденциального дела»²⁹. Но, в конечном счете, и Петр «принял смерть от коня своего». Нынешняя же, «экологическая», оборона Стамбула, начавшаяся в мае 2013 года, при всей непредсказуемости ее политических последствий, предстает как историческое искупление взятия Константинополя ровно через 560 лет тому назад.

²⁹ Там же. С. 162.

